

*Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе**¹

А. М. Хазанов

университет Висконсина, Мэдисон

Экстенсивное и подвижное скотоводство, включая полукочевое скотоводство и чисто кочевое скотоводство как его наиболее крайние формы, представлено, или было представлено, довольно ограниченным числом основных экономических и культурных типов. Они отражают одновременно географическое разнообразие и экономическое сходство данного вида хозяйственной деятельности. Кроме того, формирование этих типов нередко было связано с историческими обстоятельствами, такими, как диффузии, заимствования, миграции и т. п. Исключая промежуточные и маргинальные формы, подвижное скотоводство представлено следующими основными типами: Северный евразийский тип (тундровое оленеводство); Евразийский степной тип, распространенный в умеренной зоне степей, полустепей и пустынь, от Венгрии до Северного Китая; Ближневосточный тип, географически включающий северо-восточную Африку; Средневосточный тип, распространенный на территории современных Турции, Ирана и Афганистана и в известной мере являющийся промежуточным между Евразийским степным и Ближневосточным типами; Восточноафриканский тип, в котором отсутствуют такие верховые и транспортные животные, как лошадь и верблюд, а крупный рогатый скот играет ведущую роль; и Высокогорный тип Внутренней Азии, наиболее типичными представителями которого являются кочевники Тибета.

Внутри этих основных типов легко можно выделить подтипы, подподтипы и т. п., однако типологии и классификации не являются темой данной статьи, в основном посвященной скотоводству евразийских степей, полупустынь и пустынь. Этот тип – сравнительно гомогенный, хотя и в нем можно выделить несколько подтипов: внутреннеазиатский (монгольский), казахстанский, центрально-азиатский, восточноевропейский (в древности и средневековье) и южно-центральноазиатский (туркменский). Различия между этими подтипами, однако, кажутся более культурными и этническими, чем экономическими. Более, чем дру-

Хазанов А. М. / Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе, с. 468–489

гие, специфичен южно-центральноазиатский подтип. На территории Туркменистана пустыни умеренной зоны переходят в пустыни субтропической зоны (так называемые Ирано-Туранские или Южно-Туранские пустыни). Соответственно скотоводство в них приобретает некоторые характеристики, сходные со скотоводством на Среднем и даже на Ближнем Востоке.

Кочевое скотоводство все еще не имеет общепринятого определения. Поэтому я должен начать с моего собственного понимания этого феномена. Некоторые ученые обращают особое внимание на его подвижный характер и поэтому используют термин «кочевничество» в очень широком смысле. Они характеризуют как кочевников не только любых скотоводов, но и бродячих охотников и собирателей, конных охотников на бизонов (индейцев Великих Равнин Северной Америки), некоторые этнопрофессиональные группы (например цыганские), «морских кочевников» Юго-Восточной Азии и даже некоторые категории рабочих в современных индустриальных обществах. Другие ученые рассматривают кочевничество как особую социально-культурную систему или как особый культурный тип, связанный со специфическим образом жизни, мировоззрением, ценностями и т. п. Все подобные определения кочевничества игнорируют его экономическую сторону, которая, на мой взгляд, является наиболее важной. Подвижное и экстенсивное скотоводство в первую очередь представляет собой особый вид производящей экономики. Поэтому его определение должно включать две пары оппозиций: между животноводством и земледелием и между подвижностью и оседлостью. Наряду с экологическими факторами, размер и значение земледелия, практикуемого в скотоводческих обществах, определяют степень подвижности их населения и служат критерием для выделения различных форм скотоводства.

В таком случае следующие характерные черты представляются важнейшими для кочевого скотоводства как наиболее специализированной формы экстенсивного скотоводства:

Скотоводство является важнейшей формы хозяйственной деятельности; земледелие или вообще отсутствует, или практикуется в очень незначительном размере.

Скотоводство имеет экстенсивный характер, связанный с круглогодичным выпасом скота на естественных пастбищах, без стойлового его содержания и без заготовки кормов.

Скотоводческое хозяйство требует подвижности в пределах определенных пастбищных территорий, а также между ними.

В перекочевках участвует все или большинство населения данного общества.

Кочевое производство направлено на удовлетворение непосредственных нужд жизнеобеспечения. Традиционная экономика кочевого скотоводства никогда не была ориентирована на получение прибыли,

хотя нередко она в довольно значительной мере была ориентирована на обмен.

Социальная организация кочевых скотоводов основана на родстве, а у кочевников евразийских степей и Ближнего и Среднего Востока – также на различных сегментарных системах и генеалогиях, как реальных, так и фиктивных.

Культура кочевых обществ обладает рядом характерных черт, связанных с подвижным образом жизни, особенностями социополитической организации и рядом других факторов.

Любая специализация влечет за собой зависимость, и специализация на кочевом скотоводстве не представляет исключения. Она открыла новые возможности для освоения прежде недостаточно использовавшихся экологических зон. Возникновение экстенсивного скотоводства, а позднее – кочевого скотоводства, сыграло важнейшую роль в распространении производящей экономики в аридной, полуаридной и тундровой зонах ойкумены, потому что в течение очень долгого времени эти формы хозяйственной деятельности имели в них преимущество по сравнению с любыми другими. Более того, во многих регионах это преимущество сохранялось до XX века, а иногда и позднее.

Однако недостатки кочевого скотоводства как экономической системы также вполне очевидны. Во-первых, его специализация была принципиально отличной от специализации не только в индустриальных, но даже в традиционных земледельческо-городских обществах, которая заметна уже на ранних этапах ближневосточной истории (Nissen 1988: 43ff.). Она была межобщественной в гораздо большей мере, чем внутриобщественной. В самих кочевых обществах общественное разделение труда было сравнительно неразвитым. География кочевого скотоводства и связанный с ним подвижный образ жизни оставляли мало возможностей для развития земледелия и ремесел. Поэтому нормально функционирующая кочевая экономика зависела от других экономических систем так же, как кочевые общества зависели от других, главным образом, оседлых, обществ. Я условно называю такие общества «внешним миром», но в политическом отношении кочевники нередко были интегральной частью этого мира на региональном, а иногда даже на межрегиональном уровнях.

Во-вторых, в отличие от многих форм земледелия, обладающих потенциалом для диахронного технологического развития, в кочевом скотоводстве, коль скоро его формирование было закончено, преобладало простое воспроизводство однотипных и высокоспециализированных форм. Его экологические параметры существенно ограничивали возможность экономического роста за счет технологических инноваций, они же препятствовали стабильной интенсификации производства.

Например, увеличение продуктивности природных пастбищ требует целого ряда дорогостоящих мер, возможных только в индустри-

альных обществах. Даже временное увеличение поголовья скота достигалось главным образом посредством увеличения пастбищных территорий. В основном это было возможным лишь благодаря военной экспансии, в результате которой поля обращались в пастбища. Древняя и средневековая история изобилует примерами подобного развития. Однако такой экстенсивный метод увеличения продукции не мог быть постоянным или стабильным. Он слишком зависел от соотношения сил между кочевниками и земледельцами. Кроме того, пастбищные территории, даже увеличенные военным путем, рано или поздно достигали предела своей продуктивности, что делало дальнейший рост численности скота невозможным.

Зависимость кочевников от внешнего мира определялась также еще одним фактором. Кочевое скотоводство как экономическая система отличается хронической нестабильностью. Оно основано на балансе между тремя переменными: природными ресурсами (такими, как растительность и вода), поголовьем скота и численностью населения. Все они постоянно колеблются, но отнюдь не синхронно, потому что каждая переменная, в свою очередь, зависит от многих факторов, как постоянных, так и временных, как регулярных, так и нерегулярных. Простейшими и наиболее хорошо известными примерами временного дисбаланса являются массовые потери скота и последующий голод, связанные с природными бедствиями и эпизоотиями. В других случаях, напротив, рост поголовья скота превышал продуктивные способности пастбищ. Именно такие циклические колебания поддерживали долговременный баланс в экономике кочевого скотоводства, но в кратковременной перспективе их последствия могли быть весьма негативными. Иначе говоря, баланс был не статичным, а динамичным.

Одним из путей преодоления хронических недостатков кочевой экономики было развитие собственного земледельческого производства. И действительно, на протяжении долгих исторических периодов многие, если не большинство, из тех, кто кочевали в евразийских степях, были не чистыми кочевниками, а, скорее, полукочевниками, практиковавшими земледелие в качестве второстепенного и вспомогательного занятия. Однако, как показала советская кампания по освоению целинных земель, даже в XX веке земледелие без ирригации является рискованным занятием в аридных зонах и часто приводит к сверхэксплуатации хрупких экосистем. В древности и средневековье земледелие в этих зонах было еще менее стабильным и надежным. Полукочевничество было неспособно решить проблему неавтаркичности кочевой экономики. Поэтому кочевники нуждались в оседлых обществах как своего рода гарантийном фонде, необходимом для их жизнеобеспечения. Хотя они мало что инвестировали в этот фонд, он был незаменим для них, когда они получали доступ к его прибыли, а иногда даже к основному капиталу. Однако для того, чтобы иметь

доступ к этому фонду, они должны были приспособливаться к социополитическим и культурным особенностям внешнего мира.

Интегральной частью идеологии кочевников был антитезис между кочевым и оседлым образами жизни, в известной мере отражавший реальные различия. Этот антитезис, будучи символическим отражением универсальной «ты – они» оппозиции, выполнял интегрирующую функцию внутри кочевых обществ и дифференцирующую – в отношении оседлых. Более того, он представлял в негативном свете оседлый образ жизни. Тем не менее письменные источники со времен первых упоминаний о кочевниках не оставляют никаких сомнений в том, что земледельческие территории производили существенную часть потребляемых ими продуктов питания. Те же источники, как и археологические данные, свидетельствуют также о том, что значительная часть предметов материальной культуры кочевников производилась на оседлых территориях. Экономическая зависимость кочевников от оседлых обществ влекла за собой не только различные способы политической адаптации к ним, но и важные культурные последствия. Так же, как кочевая экономика должна была дополняться земледельческими и ремесленными продуктами, так и культура кочевников нуждалась в культуре оседлого населения как источнике, компоненте и модели для сравнения, заимствования, подражания или, напротив, отвержения. Даже идеологическая оппозиция между кочевыми и оседлыми обществами была относительной. Достаточно напомнить, что, хотя кочевники сами не создали ни одну из мировых и универсальных религий, они внесли существенный вклад в их распространение (Khazanov 1993; 1994a).

Кочевники хорошо понимали связь между своим образом жизни и его определенными социальными преимуществами. В то же время они осознавали, что их культура не является столь же сложной, богатой и рафинированной, как оседлые культуры. Их отношение к последним напоминало отношение к западной культуре многих людей в странах третьего мира. Ощущая ее неотвратимую привлекательность, но находясь вне ее социально-экономической сферы, они одновременно отвергают ее в целом, но заимствуют ее отдельные элементы. Правда, кочевники не страдали при этом от комплекса неполноценности и не прибегали к терроризму. Заимствования всегда подвергались селекции, фильтрованию на предмет их соответствия кочевым культурам и традициям, а также их утилитарной ценности (Allsen 2001).

Это хорошо заметно на примере тех кочевых государств, в которых возникали новые культуры. Хотя кочевники, точнее, их знать были инициаторами их создания, а также основными патронами и потребителями, они в основном создавались специалистами: ремесленниками, профессионалами, интеллектуалами – выходцами из различных оседлых стран. Поэтому такие культуры были эклектическими гораздо больше, чем синтетическими. Их, вероятно, правильнее всего назы-

вать государственными, потому что они должны были обеспечить не только комфорт и роскошь правящих элит, но и, что важнее, способствовать управлению государством. Как метко заметил Крамаровский (Kramarovsky 1991: 256), золотоордынская культура была, а золотоордынского народа не было. Судьбы этих культур прямо зависели от судеб государств, которые вызвали их к жизни. Во всяком случае, они ни в коей мере не были этническими и весьма отличались от синхронных им культур рядовых кочевников. Примерами могут служить культуры сельджукских султанатов, Золотой Орды и отчасти других, одновременных ей монгольских государств, в меньшей степени тюркских каганатов, особенно уйгурского, все еще малопонятна культура Хазарии и, возможно, даже государственная культура Скифского царства.

В ряде центральноазиатских стран, и даже в отдельных республиках Российской Федерации, наблюдается любопытная тенденция в отношении к кочевникам, ставшая особенно заметной в постсоветский период. Она связана со спецификой их националистических мифологий, которые, как и в других странах, стремятся к прославлению реальных или воображаемых предков (анализ и критику националистических идеологий в бывших советских странах см., например: Shnirelman 1996; Аймермахер, Бордюгов 1999). Поскольку эти предки, во всяком случае часть из них, нередко были кочевниками, некоторые ученые и особенно псевдоученые дилетанты стремятся или преувеличивать их уровень развития и достижения, или, напротив, утверждают, что они вообще не были кочевниками, а практиковали комплексное скотоводческое-земледельческое хозяйство. В известной мере это является чрезмерной реакцией на советские концепции исторического процесса, которые рассматривали кочевое скотоводство как тупиковый путь развития и превозносили их насильственную седентеризацию и коллективизацию как единственно возможный путь экономического прогресса.

В подлинной науке нет места и нужды в необузданной фантазии и идеологических спекуляциях любого рода. Но даже если славные предки действительно нужны для национального строительства, то нет никаких оснований стыдиться кочевых предков в этой роли. Значение скотоводства в целом и кочевого скотоводства в частности далеко превышало их успешный ответ на вызов, брошенный климатом и экологией.

В политической и этнолингвистической истории Старого Света их влияние трудно переоценить (Khazanov and Wink 2001). Кочевники играли огромную роль в радикальных изменениях политических границ, в разрушении многих государств и империй и в создании других. Все ещё не ясно, были ли первоначальные индоевропейцы скотоводами или ранними земледельцами, но распространение семитских языков, языков, принадлежащих к иранской группе индоевропейской лин-

гвистической семьи, многих алтайских и других языков было определено связано с миграциями, завоеваниями и политическим господством скотоводов и кочевников.

Кочевники также играли очень важную роль в качестве организаторов и посредников в различного рода культурных обменах между самими оседлыми обществами. Их вклад в трансконтинентальную циркуляцию и трансмиссию культурных и технологических артефактов и инноваций является очень значительным. В этом отношении полиэтнические и поликультурные империи, основанные кочевниками, играли определенную положительную роль (Bentley 1993).

Не только культуры оседлых обществ оказывали влияние на культуры кочевников; кочевые культуры, в свою очередь, влияли на оседлые. Вооружение, украшения, одежда, мода и традиции кочевников нередко были объектом подражания в оседлых обществах. Весьма показательным в этом отношении является феномен посткочевничества. Некоторые культурные особенности кочевников, их система ценностей, образ жизни, правила социального поведения и политические традиции считались престижными и долгое время лимитировались в определенных слоях оседлых обществ даже после того, как сами кочевники оседали или переставали быть господствующими в политическом отношении.

И все же бесспорным остается тот факт, что в экономическом отношении кочевники зависели от оседлых, земледельческо-городских обществ гораздо больше, чем те – от кочевников. Кочевая экономика никогда не была, и не могла быть, автаркичной. Поэтому кочевники стремились к приобретению продуктов, производившихся в оседлых обществах, всеми доступными способами. На карте стояло само их выживание. Это обстоятельство было отмечено уже великим арабским средневековым ученым Ибн Халдуном, писавшим:

«Цивилизация пустыни уступает городской цивилизации, потому что жители пустынь сами не способны удовлетворить все ее потребности... В то время как они [бедуины] нуждаются в городах для своего жизнеобеспечения, горожане нуждаются [в продуктах, производимых бедуинами] лишь для комфорта и роскоши» (Ibn Khaldūn 1967: 122).

Как и бедуины, кочевники евразийских степей вынуждены были приспосабливаться не только к природной среде, но и к социополитической и культурной среде внешнего мира. Их взаимоотношения с оседлыми обществами варьировали в очень широком диапазоне: от прямого обмена, торговли, всякого рода посреднических услуг в международной торговле и наемничества до набегов, грабежей, вымогательства, эпизодических платежей или более или менее институционализированных субсидий, получения регулярной дани и, наконец, завоеваний и прямого подчинения оседлого населения.

Эти завоевания и их последствия всегда привлекали большое внимание. Однако другой вопрос, почему кочевники с их ограниченными человеческими и материальными ресурсами на протяжении многих столетий, и даже тысячелетий, были столь сильны в военном отношении, до сих пор не получил достаточного освещения. Конечно, каждый конкретный случай был связан со многими специфическими обстоятельствами и заслуживает специального изучения, но в целом такое положение дел можно объяснить неразвитым разделением труда в кочевых обществах, а также тем, что рядовые кочевники в них не были полностью отстранены от участия в общественных делах. Это давало им ряд преимуществ в военной сфере.

За редкими исключениями, в оседлых государствах военное дело было специализировано и профессионализировано. Напротив, в кочевых обществах каждый мужчина (а иногда и женщины, когда это было необходимо) был воином-всадником. Поэтому несмотря на свою сравнительную малочисленность, номады были способны мобилизовать довольно большие армии. Более того, кочевники не испытывали недостатка в верховых животных, а их образ жизни был одновременно почти естественным воспитанием военных навыков. В отношении индивидуальных боевых качеств только средневековые европейские рыцари и ближневосточные мамелюки могли сравниться с воинами кочевников, причем тренировка и во-оружение мамлюков нередко отражали военные традиции кочевников (Nicolle 1976; Amitai-Preiss 1995: 214ff; Smith 1997: 255ff).

Таким образом, экономическая и социальная отсталость кочевников оборачивалась военным преимуществом в их взаимоотношениях с оседлыми партнерами. Вплоть до Нового времени это преимущество нередко позволяло им придавать политический характер чисто экономическим или культурным связям. Иначе говоря, военные преимущества открывали возможности для политического доминирования с благоприятными для кочевников экономическими последствиями. Такая ситуация была особенно характерна для кочевников евразийских степей и Ближнего и Среднего Востока, крупномасштабные вторжения и завоевания которых были неременной чертой древней и средневековой истории.

Имеется еще один, и очень важный, фактор, который необходимо учитывать для правильного представления о функционировании кочевых обществ. Необходимые предпосылки для возникновения кочевого скотоводства впервые появились в связи с переходом от присваивающей к производящей экономике, который обычно называют неолитической революцией (Шнирельман 1980; Clutton-Brock 1987; 1989). В биологическом и культурном отношении domestikация животных включала следующие основные стадии: выбор видов, подходящих для domestikации, поимку индивидуальных животных (в первую очередь молодняк), их дальнейшую изоляцию, приручение, поведенческий кон-

троль, контролируемое размножение (морфологические изменения), диффузию (перемещение животных в новые природные зоны) и их адаптацию к новому окружению (включая гибридизацию), расширение утилизации скота и продуктов скотоводства (влекущее за собой дальнейшую селекцию).

Земледелие и животноводство обладали потенциалом для распространения и дальнейшей специализации в различных экономических зонах. Однако на протяжении многих тысячелетий после неолитической революции производящие экономики в Старом Свете оставались комплексными, сочетая, хотя и в разных пропорциях, земледелие и скотоводство.

В некоторых своих предыдущих работах (см., например: Khazanov, 1984: 85ff.; Khazanov 1990: 86ff) я предполагал, что кочевое скотоводство, полностью порвавшее с земледелием, было довольно поздней специализацией, хотя многие из его технологических предпосылок, например использование верховых животных, возникли значительно раньше (Anthony and Brown 1991). По моему мнению, даже в главных регионах своего спонтанного развития оно появилось не ранее второй половины II тысячелетия до н. э. (имеются в виду те формы кочевого скотоводства, которые без кардинальных изменений продолжали затем существовать на протяжении более трех тысяч лет). В обоих этих регионах исходной формой была смешанная экономика, а промежуточными – различные формы экстенсивного и подвижного скотоводства, продолжавшие практиковать земледелие в качестве вспомогательного занятия. В других регионах кочевое скотоводство появилось еще позднее, испытав прямое или косвенное влияние уже существовавших форм.

Очевидно, в этом вопросе требуется большая осторожность. Я готов допустить теперь возможность того, что некоторые формы примитивного кочевого скотоводства время от времени могли возникать уже в бронзовом веке или даже ранее. На это, кажется, указывают данные археологии, хотя они все еще могут быть интерпретированы различным образом, несмотря на растущее совершенство методов археологического исследования (Bag-Josef and Khazanov 1992). Однако если не забывать о недостатках кочевого скотоводства, то надо предположить, что оно нуждалось в триггере – специальном импульсе для своего возникновения – и в благоприятной внешней социополитической обстановке для того, чтобы стать долговременной и жизнеспособной альтернативой оседлому образу жизни и тем более быть способным к территориальной экспансии в другие экологические зоны. Представляется, что обе эти предпосылки появились только в конце II – начале I тысячелетия до н. э.

С одной стороны, климат в это время стал заметно суше, что, очевидно, привело к изменениям в природных ландшафтах и потребовало дальнейшей специализации скотоводческой экономики. С другой сто-

роны, только начиная с I тысячелетия до н. э. кочевые общества стали периферией оседлых государств, возникших на южных границах степной зоны. Только с этого времени внешний мир стал оптимальным для их исторического функционирования. Кочевники нуждались не просто в оседлых обществах, но в таких, которые достигли определенного уровня развития – не первобытных и не индустриальных, а традиционных (то есть доиндустриальных), но притом уже обладавших своей государственностью. Примером могут служить древние и средневековые государства Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Китая.

Большинство работ советских ученых и ряда западных марксистов (см., например: Kraeder 1978), посвященных кочевникам, подчас очень глубоких и серьезных, имеет один серьезный недостаток. Их теоретическим основанием являлась концепция универсальных и прогрессивных социально-экономических формаций (исключения см.: Хазанов 1975; Марков 1976). В соответствии с ней каждое общество развивалось сходным образом и в одинаковом направлении, и кочевники не должны были составлять исключение. Идеология поставила советских ученых перед неразрешимой проблемой: как доказать, что кочевники развивались в направлении более сложных социально-экономических систем? Это было нелегко сделать даже в отношении многих оседлых обществ и целых регионов. В отношении кочевников это просто было безнадежным занятием, повлекшим за собой многолетнюю, но едва ли плодотворную дискуссию (один из последних ее обзоров см.: Крадин 1992). Одни ученые писали о кочевом феодализме, другие – о «военной демократии» как уровнях развития, соответствовавших кочевым обществам; третьи изобрели особую кочевую формацию; четвертые выстраивали более сложный эволюционный ряд: архаические империи – варварские государства – раннефеодальные державы (Кляшторный, Султанов 2000: 82), очевидно, пытаясь доказать, что развитие кочевников соответствовало европейским моделям. Обратимый характер функционирования конкретных кочевых обществ иногда признавался – уж слишком очевидно он бросался в глаза. Тем не менее развитие евразийских кочевников в целом представлялось поступательным историческим процессом. При всех обстоятельствах возникновение кочевой государственности считалось спонтанным процессом, как это и было предписано марксистской догмой. Внешний фактор или преуменьшался, или вообще игнорировался.

Сама проблема, однако, является надуманной. Она существует только для однолинейных эволюционистов и марксистов, чье понимание исторического процесса, в сущности, является телеологическим. В настоящее время только люди с большими схоластическими наклонностями, и к тому же игнорирующие огромное количество фактических данных, способны исповедовать допотопную теорию универсальных

социально-экономических формаций. До сих пор исторический процесс никогда не был ни универсальным, ни однолинейным. В различных обществах и в различных регионах он принимал различный характер, формы, направления и темпы. Что касается сходных черт, то они были связаны с обменом идеями, культурными и технологическими инновациями, миграцией и прямым навязыванием чужих моделей, по крайней мере, не меньше, чем со спонтанным внутренним развитием.

Я думаю, что основными блоками исторического процесса были не универсальные формации, а историко-культурные регионы. Их нередко называют «цивилизации», но я избегаю употребления этого термина из-за его семантической неопределенности. Он связан с бесконечной дискуссией о количестве различных цивилизаций, критериях их выделения и т. п. Иначе говоря, он влечет за собой много спекулятивных и субъективных таксономических и культурологических проблем, которые не имеют прямого отношения к данной статье. Тем не менее ясно, что серьезные и долговременные различия в региональном развитии связаны со многими факторами географического, экологического, социального, политического, культурного и иного порядка. Все важнейшие качественные изменения в человеческой истории были результатом уникального сочетания многих разнообразных факторов, которое подчас выглядит почти случайным. Во всяком случае, эти изменения отнюдь не были детерминированы. В сущности, в истории прослеживается очень мало закономерностей, а те, которые прослеживаются, относятся в основном к причинно-следственному порядку развития (Gellner 1988: 15ff.).

Начиная с I тысячелетия до н. э. кочевникам евразийских степей были присущи сравнительно большие политии – известный вариант или аналог вождеств, хорошо описанных на примере многих оседлых обществ. Их альтернативно называют племенными ассоциациями, племенными федерациями, племенными конфедерациями и т. п. Эти термины не кажутся мне очень удачными, потому что большинство «федераций» или «конфедераций» создавалось отнюдь не на добровольной основе. Но, в конце концов, о терминах не спорят, о терминах уславливаются. Важнее уяснить политическую сущность кочевых образований.

Археологическим индикатором их возникновения служат роскошные погребения предводителей, нередко, но далеко не всегда обоснованно называемые «царскими» по аналогии со скифскими. Сами по себе археологические материалы в большинстве случаев не позволяют определить конкретный уровень развития кочевых политий. Как правило, это можно сделать только с помощью письменных источников, особенно в тех случаях, когда они дают достаточное представление о характере их взаимоотношений с оседлыми обществами. Мы с уверенностью можем писать о существовании государства у скифов и

сюнну, потому что мы в состоянии объяснить их экономические основания. Но я бы остерегся делать подобные заключения в отношении тех, кто оставил такие курганы, как Аржан, Пазарькские, Иссык и некоторые другие.

Сегментарные формы социальной организации не исключают полностью возможность возникновения центрального агентства по управлению общественными делами, то есть правительства, но они сильно затрудняют его появление и функционирование, а также ограничивают сферу его деятельности. Политическая власть в кочевых полициях в значительной мере оставалась диффузной и в основном связанной с военными и организационно-регулятивными функциями. Соответственно они были рыхлыми, текучими по составу и недолговечными, за исключением тех случаев, когда они подвергались трансформации в результате специфических взаимоотношений с внешним миром. Иными словами, в самих кочевых обществах потребности политической интеграции были недостаточно сильны, чтобы приводить к необратимым структурным изменениям. Их руководящий слой редко обладал той монополией легитимного насилия, которая, по мнению Макса Вебера, составляет основной признак государства. Тем более нет оснований считать их классовыми (противоположное мнение было недавно поддержано Е. И. Кычановым [1997:5]). Лишь в определенных, достаточно редких случаях внутренние процессы в кочевых обществах могли вызвать к жизни наследственную (однако все же обратимую) социальную стратификацию.

В какой-то мере социальная стратификация в кочевых обществах могла усиливаться, когда кочевой аристократии удавалось подчинить другие группы кочевников. Но такое подчинение редко бывало стабильным и долговременным. История различных тюркских каганатов свидетельствует об этом достаточно недвусмысленно. В экономическом отношении традиционные недостатки кочевого хозяйства делали уплату податей подчиненными делом весьма проблематичным и ненадежным. В культурном отношении препятствие заключалось в однотипном образе жизни, связанном с мобильностью и, следовательно, с возможностью откочевок, миграции и т. п. В социально-политическом отношении проблема была в отсутствии достаточно сильного аппарата принуждения. Пример древних тюрков, монголов и многих других демонстрирует, что для создания крупного кочевого государства требовалась мобилизация сил многих кочевых формирований. Но только возможные выгоды от совместной эксплуатации оседлых обществ могли на время примирить одних кочевников с их зависимым статусом от других.

От характера этой эксплуатации в конечном счете и зависело возникновение кочевых государств и их конкретные формы и судьбы. Собственно говоря, сам термин «кочевые государства» в известной

мере является условным. Они были кочевыми, потому что были основаны кочевниками и/или потому что кочевники занимают в них доминирующие позиции. Однако, так или иначе, но все они были связаны с асимметричными отношениями с оседлыми обществами. Без них кочевые государства были не более, чем редкими и кратковременными исключениями, если таковые были вообще.

История кочевых государств Центральной и Внутренней Азии, от сюнну до монголов и даже до маньчжур (последние никогда не были чистыми кочевниками, но во многом заимствовали монгольскую политическую традицию), отнюдь не представляет единый эволюционный ряд, в котором каждое новое государство более высокого уровня, чем его предшественники. Лишь отчасти это было связано с этническими отличиями новых государств от их предшественников. Политическая культура в степях обладала примечательной преемственностью. Различия в оседлых обществах, взаимоотношения с которыми вызывали к жизни кочевые государства, по-видимому, имели большее значение. Необходимо также учитывать характер отношений, складывавшихся между кочевниками и зависимыми от них оседлыми обществами.

Следуя Латтимору (Lattimore 1940), Барфилд предложил интересную модель для объяснения циклов китайской династической истории и кочевой государственности во Внутренней Азии (Barfield 1989; 1991). По его мнению, все кочевые империи в монгольских степях и те китайские династии, которым удавалось объединить всю страну, возникали и гибли в одно и то же время. Напротив, государственность в Маньчжурии развивалась лишь в периоды анархии на северной границе, когда и в Китае и в степях отсутствовала центральная власть.

На мой взгляд, эта модель наряду с сильными сторонами имеет ряд слабых и поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Например, государство сюнну возникло в 206 г. до н. э., когда Китай находился на грани гражданской войны, и процветало в начале ханьского периода, когда политическая власть в стране еще не полностью укрепились (Yamada 1982). Тюркский каганат возник в середине VI в. – по меньшей мере за тридцать лет до того, как раздробленный Китай был объединен под властью династии Суй. Трудно согласиться с Барфилдом и в том, что кочевники никогда не имели отношения к гибели империй, правивших всем Китаем. Достаточно вспомнить в этой связи роль уйгуров в падении династии Тан (Pulleyblank 1955). Очень сомнительно его утверждение, что монгольское завоевание Китая было aberrацией степных порядков. Слово «абerrация» не избавляет от необходимости объяснить как причины завоевания, так и его успех. В целом представляется, что долговременные исторические процессы в Китае были гораздо больше связаны с внутренними, чем с внешними процессами. Напротив, характер кочевой государственности во Внутренней Азии очень во многом зависел от развития в Китае.

В самом упрощенном и схематичном виде можно выделить два типа кочевой государственности, в зависимости от характера их взаимоотношений с оседлыми обществами. В государствах первого типа они в основном реализовывались в вассально-данических или иных примитивных и не всегда упорядоченных формах коллективной зависимости и эксплуатации. Как правило, кочевники и оседлое население продолжали обитать раздельно, каждая в своих экономических зонах. Иногда оседлые государства продолжали свое существование, иногда кочевники и земледельцы-горожане оказывались объединенными в составе одного государства. Но даже в последнем случае их интеграция была весьма политической сфере, не затрагивая социально-политических основ оседлого общества.

Рядовые кочевники в подобных государствах оставались их военной и социальной опорой. Поэтому в них продолжали действовать механизмы редистрибуции, а кочевая аристократия по отношению к своему обществу, или субобществу, действовала, скорее, как руководящее сословие, чем господствующий класс. Правда, почти во всех кочевых государствах первого типа возникал свой земледельческий и городской сектор – в основном за счет выходцев из оседлых обществ. Однако, как правило, он оставался слишком слабым, чтобы удовлетворять все их экономические потребности. Так, эти государства не могли обойтись без городов – центров политической власти и, в меньшей степени, торговли и ремесел. Но само их возникновение выглядит несколько искусственным. Не столько государство существовало за их счет, сколько сами они гибли вместе с государствами, которые вызвали их к жизни. Судьбы Орду-Балыка, Итиля, Сарая-Бату, Сарая-Берке или Каракорума являются в этом отношении весьма показательными.

Примером кочевых государств первого типа могут служить государства скифов и сунну, тюркские каганаты, государство киданей (каракиданей) в Центральной Азии, Монгольская империя при первых ханах и многие другие. Они существовали лишь за счет примитивной эксплуатации оседлых обществ. Они гибли, когда возможности ее существенно сокращались или прекращались вовсе, а вассальные кочевые объединения отпадали. Обычно это сопровождалось соответствующей примитивизацией социально-экономического строя. Лишь изредка в кочевых обществах, напротив, преобладание получали седентаризационные процессы. Чаще всего это случалось в случаях переселения в иные экологические зоны, в результате которого кочевое общество в целом переставало быть таковым, становясь по преимуществу земледельческо-городским. В нем еще мог сохраняться значительный кочевой уклад, но оно развивалось уже совсем в ином русле. Примером могут служить уйгуры, вытесненные кыргызами в Восточный Туркестан.

Кочевые государства второго типа нередко являлись трансформацией государств первого типа, в числе прочего выражавшейся в интеграции кочевников и земледельцев-горожан в единую политическую систему. Особенно часто это происходило, когда кочевники после завоевания оседлых государств переселялись на их территорию. Примером в древности являлась держава кушан, в раннем средневековье – ряд государств, созданных кочевниками в Северном Китае в IV–VI вв. н. э., позднее – государства киданей и чжурчженей в Китае, Караханидов в Центральной Азии, и Сельджуков на Среднем Востоке, в монгольский период – Юань в Китае и государство Хулагуидов в Иране, в позднесредневековый период – государство Шейбанидов в Центральной Азии.

Эти государства создавались кочевниками и управлялись династиями кочевого происхождения, а социальная стратификация в них в известной мере совпадала с экономической специализацией и этническими различиями. Собственно, поэтому их и можно называть кочевыми. До известной меры кочевники и оседлое население в государствах второго типа могли даже образовывать два отдельных субобщества, но только в социальном, а не политическом или географическом отношениях. Интеграционный процесс обычно начинался с династии и ее непосредственного окружения, а затем охватывал всю или часть кочевой аристократии, которая становилась привилегированным классом оседлого населения или одним из его привилегированных классов.

В таких государствах наблюдался определенный синтез, хотя и редко полный, сравнительно менее развитых социальных отношений завоевателей с более развитыми отношениями завоеванных. Более того, характер господствовавших в них социально-экономических, а отчасти даже политических отношений во многом определялся уже отношениями, сложившимися на оседлых территориях. Изменения, происходившие в оседлых субобществах, преимущественно затрагивали привилегированные слои. Аристократия кочевников или правящие слои кочевого происхождения нередко становились при этом земледельческими сословиями. Однако даже смена правящих элит, как правило, не была полной. В мусульманских странах для победоносных кочевников было гораздо легче устранить «людей меча» – старое военное сословие, чем «людей пера» – бюрократию. Кроме того, кочевники, принявшие ислам, такие, как сельджуки, караханиды, а позднее шейбаниды, никогда и не помышляли посягнуть на другое привилегированное сословие – улама и суфийских шейхов (Бартольд 1963: 369–371). В Китае ученые-бюрократы пережили всех кочевых завоевателей, потому что для управления страной они были незаменимы. Уже сын и наследник Чингисхана, Угэдей, усвоил старый афоризм древнекитайского оратора Лу Цзя (III–II вв. до н. э.), преподанный ему китайским советником Елюй Чу-цаем: «Хотя [вы] получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять [ею], сидя на коне», – и позво-

лил привлечь в гражданскую администрацию ученых-конфуцианцев (Мункуев 1965: 19).

Представляется, что изменения в социальных и экономических структурах оседлых стран, вызванные завоеваниями кочевников, отнюдь не были кардинальными и в основном ограничивались некоторыми пермутациями. В то же время завоеватели охотно принимали те институты завоеванных стран, которые отвечали их интересам. Так, сельджуки приняли и расширили систему икта, потому что она способствовала их господству над земледельческим населением.

Таким образом, ведущие формы зависимости и эксплуатации в государствах второго типа проявлялись в отношениях кочевой аристократии с завоеванным оседлым населением как в целом, так и с его отдельными слоями и классами. Однако положение рядовых кочевников также не оставалось неизменным, хотя они не только не являлись основным классом в таких государствах, но даже редко составляли единый класс или сословие. По мере развития государств второго типа, кочевое субобщество в них нередко становилось более дифференцированным. Кочевые группы в них разделяются на привилегированные, менее привилегированные и непривилегированные, в зависимости от их связей с династией и кочевой аристократией, этнической и племенной принадлежности и т. п. Обычно в кочевом субобществе формируются несколько промежуточных сословий или слоев, некоторые из которых были ближе к правящему классу, а другие – к зависимым слоям населения.

По мере развития интеграционного процесса в государствах второго типа кочевая аристократия и особенно династия должны были решать, отождествлять ли свои интересы с интересами государства в целом и его оседлого субобщества или, в первую очередь, сохранить лояльность кочевского субобщества, поддерживая его привилегированное положение, и в таком случае идти иногда против интересов государства. Дилемма никогда не была простой, и не всегда можно было достичь согласия по поводу избранной политики даже среди различных групп кочевой аристократии. В результате в кочевых государствах второго типа часто возникали новые конфликты, например, между династией кочевого происхождения и ее сторонниками, с одной стороны, и традиционной кочевой аристократией, с другой; между различными группами кочевников; между династией и рядовыми кочевниками и т. д.

Одним из распространенных путей трансформации таких государств было превращение их в оседлые государства, в которых некоторые кочевники постепенно оседали, в то время как другие постепенно превращались в отсталое социальное, а иногда и этническое меньшинство, инкапсулированное в более развитые социально-экономические и политические культуры. Примером подобного развития может служить Османская Турция. Но все это уже иная история.

Итак, решающим фактором в возникновении и функционировании кочевой государственности были специфические взаимоотношения кочевых и оседлых обществ. И все же внутренний фактор исключать полностью нельзя. Но он был связан не столько с весьма проблематичным эволюционным развитием, сколько с уже упоминавшейся стабильностью политической культуры в евразийских степях. Эта культура в значительной мере была полиэтничной и отнюдь не ограниченной рамками отдельных кочевых политий и государства (Golden 1982; 2001; Трепавлов 1993; Кляшторный, Савинов 1994; Allsen 1996).

Древние и средневековые современники кочевников, равно как и многие современные ученые, поражались стремительному взлету кочевых государств, которые, казалось, возникали ниоткуда и почти немедленно начинали военные кампании против своих соседей. Возможно, это покажется менее удивительным, если принять во внимание, что к Новому времени в евразийских степях оставалось мало кочевников, предки которых не прошли бы через горнило государственного существования. Многие политические модели, традиции и символы сохранялись у кочевников в латентной или полулатентной форме даже в безгосударственные периоды.

Очевидно, уже в I тысячелетии до н. э. в Степи возникла оригинальная политическая культура. Она была представлена многими синхронными и диахронными вариантами, но тем не менее имела удивительно много сходных черт во всем регионе. Эта культура начала претерпевать существенные изменения только тогда, когда культурное пространство евразийских степей было нарушено распространением различных мировых религий, и особенно после того, как большинство кочевников евразийских степей приняло ислам (Cahen 1968). Тем не менее отдельные ее черты были заметны много позднее (Manz 1989). Истоки этой культуры все еще не вполне ясны. Можно лишь предположить, что в ней сочетались как собственно кочевые традиции, так и заимствования из политических традиций самых различных оседлых государств и народов. Равным образом недостаточно изучены и механизмы трансмиссии этой культуры в иноязычной среде (см., однако: Трепавлов 1993: 31 сл.). Самая политическая культура кочевников была, однако, весьма оригинальной. Кочевники могли казаться варварами своим оседлым современникам, а иногда и их далеким потомкам, но на самом деле эти «варвары» были довольно изощренными в политическом отношении. Достаточно сослаться на ряд институтов и концепций, которые на протяжении многих веков имели широкое распространение в Степи.

В их числе можно упомянуть божественный мандат на правление, данный избранному Небом роду или даже божественное происхождение самого этого рода (Golden 1982; 2001)² и *translatio imperii* – представление о возможности перехода верховной власти от одной поли-

тии к другой; представление о ниспосланной свыше удаче, счастливой судьбы – иранский хварн, тюркский кут (Bombaci 1965; 1966; Frye 1989; Gnoli 1990); развитие имперской (царской) титулатуры,³ символизм, в том числе цветовой, и специфические инвеститурные церемонии (Allsen 1997: 85 ff.); наличие refugia, священных территорий и культовых центров; понятие о коллективном суверенитете, согласно которому государство и его подданные принадлежали не индивидуально правителю, а всем членам правящего рода в качестве их корпоративной собственности, и соответствующая улусная система; специфические модели наследования власти, основанные на различных вариантах ее коллатеральной ротации и принципе старшинства внутри правящего рода (Fletcher 1979–1980); съезды знати вроде монгольских курултаев; частичное совпадение административной системы с военной организацией (двоичное или троичное деление государства, деление на правое и левое крыло в тюркских и некоторых других политиях, десятичные системы); патримониальное правление, подразумевавшее распределение различного рода богатств среди вассалов, сторонников и даже рядовых кочевников; и ряд других концепций.

Так продолжалось примерно две с половиной тысяч лет, если не больше. Все изменилось только в конце средневековья и с началом Нового времени. «Европейское чудо» – начавшийся переход к современной технологической цивилизации – постепенно стал оказывать влияние и на оседлые страны Азии. А кочевники оставались прежними. Великие географические открытия и усовершенствования в мореплавании резко уменьшили значение трансконтинентальной сухопутной торговли и роль кочевников как посредников в ней (Steensgaard 1973; Rossabi 1989). В Евразии каравеллы победили караваны. Централизованные империи – Россия, Турция и Китай – создали массовые регулярные армии. Они в возрастающем размере использовали огнестрельное оружие, становившееся все более точным (Headrick 1981). Против таких армий иррегулярная кавалерия кочевников была неэффективна. Луки и копьё были игрушками по сравнению с ружьями и пушками.

Последствия не заставили себя ждать. Кочевники теряли свою политическую независимость и были вынуждены приспособляться к новой ситуации, находившейся вне их контроля. Увеличивающаяся зависимость от колониальных держав и национальных правительств, от внешнего мира в целом имела для них много отрицательных последствий. Она сократила размер занятой ими территорий, нарушила традиционные маршруты перекочевков, разрушила их экономику, основанную на удовлетворении непосредственных потребностей жизнеобеспечения, подорвала их социальную строй, идеологию и политическую культуру. Все это привело к тому, что традиционное кочевое скотоводство в евразийских степях, как и повсюду на земном шаре,

уже прекратило свое существование (Bruun and Odgaard 1996; Humphrey and Sneath 1996; 1999; Наумкин, Шапиро, Хазанов 1997; Наумкин, Томас, Хазанов, Шапиро 1999; Sneath 2000).

Тем не менее климат и природа неподвластны даже постиндустриальной цивилизации. Подвижное экстенсивное скотоводство, при условии его модернизации, во многих аридных зонах по-прежнему имеет ряд преимуществ, по сравнению со многими другими формами хозяйства. Но для этого оно нуждается в модернизации. Советские коммунисты и, в меньшей степени, их монгольские вассалы уже пытались сделать это по-своему, то есть насильственными, наихудшими и наименее эффективными методами. К чему это привело – хорошо известно. Теперь если не все, то многое надо начинать сначала, преодолевая при этом травмы предшествующего периода. Теперь надо признать, что, как и политика, экономика развития – это искусство возможного. Пока посткоммунистический период особыми успехами в модернизации экстенсивного скотоводства не отмечен. Напротив, преобладающими тенденциями сейчас является сокращение использования современной технологии, транспорта, искусственных кормов, достижений биологической науки и ветеринарии, уменьшение утилизации дальних пастбищ, во многих странах – падение престижа скотоводческого труда.

Начиная с бронзового века, если не ранее, люди пытались заглянуть в будущее, но, к лучшему или худшему, все их попытки неизменно терпели фиаско. XXI век только начинается, и предсказать судьбу экстенсивных скотоводов в нем невозможно. Тем, кому дороги традиции и достижения кочевников, остается лишь надеяться на лучшее для их потомков и по мере сил способствовать ему.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Впервые опубликовано в: Крадин Н. Н., Бондаренко Д. М. «Кочевая альтернатива социальной эволюции». М.: Центр цивилизационных и региональных исследований, Институт Африки РАН. С. 37–58. Текст печатается по указанному изданию.

¹ Наиболее подробно мои взгляды на кочевников изложены в: Khazanov 1994; Хазанов 2000.

² Концепция верховной власти, санкционированной Небом, по мнению Рачелвица, заимствованная монголами, а до них тюрками, у оседлых обществ (Rachelwitz 1973), отмечена уже у скифов (Хазанов 1975: 36 сл.) и сюнну (Крадин 1996: 70 сл.). Следовательно, она может считаться характерной идеологией кочевых государств в европейских степях. Вопрос о ее происхождении остается открытым, хотя представляется, что источники ее могли быть различными (см.: Crossley 1992).

³ Примечательно, что она была заимствована тюрками от их не-тюркских предшественников (Golden 2001: 39 ff.).

ЛИТЕРАТУРА

- Аймермахер, К. И., Бордюгов, Г. (ред.)** 1999. *Национальные истории в советском и постсоветских государствах*. М.: АИРО-XX.
- Бартольд, В. В.** 1963. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. *Сочинения*. Т. 1. М.: Изд-во вост. лит-ры.
- Кляшторный, С. Г., Савинов, Д. Г.** 1994. *Степные империи Евразии*. СПб.: Фарн.
- Кляшторный, С. Г., Султанов, Т. И.** 2000. *Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье*. СПб.: Петерб. Востоковедение.
- Крадин, Н. Н.** 1992. *Кочевые общества (проблемы формационной характеристики)*. Владивосток: Дальнаука.
1996. *Империя хунну*. Владивосток: Дальнаука.
- Кычанов, Е. И.** 1997. *Кочевые государства от гуннов до маньчжуров*. М.: Вост. лит-ра.
- Марков, Г. Е.** 1976. *Кочевники Азии: Структура хозяйства и общественной организации*. М.: Изд-во МГУ.
- Мункуев, Н. Ц.** 1965. *Китайский источник о первых монгольских ханах*. М.: Наука.
- Наумкин, В., Шапиро, К., Хазанов, А. (ред.)** 1997. *Пасторализм в Центральной Азии*. М.: Российский центр стратегических и международных исследований.
- Наумкин, В., Томас, Д., Хазанов, А., Шапиро, К.** 1999. *Современное состояние скотоводства и животноводства в Казахстане и перспективы их развития*. М.: Российский центр стратегических и международных исследований.
- Трепавлов, В. В.** 1993. *Государственный строй Монгольской империи XIII в. Проблема исторической преемственности*. М.: Вост. лит-ра.
- Хазанов, А. М.** 1975. *Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей*. М.: Наука.
2000. *Кочевники и внешний мир*. 3-е изд. Алматы: Дайк-Пресс.
- Шнирельман, В. А.** 1980. *Происхождение скотоводства*. М.: Наука.
- Allsen, T.** 1996. Spiritual Geography and Political Legitimacy in the Eastern Steppe. In Claessen, H. J. M., and Oosten, J. G. (eds.), *Ideology and the Formation of Early States* (с. 165–135). Leiden: Brill.
- Allsen, T.** 1997. *Commodity and Exchange in the Mongol Empire: a Cultural History of Islamic Textiles*. Cambridge: Cambridge University Press.
2001. *Culture and Conquest in Mongol Eurasia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Amitai-Preiss, R.** 1995. *Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260–1281*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anthony, D. W., and Brown, D. R.** 1991. The Origins of Horseback Riding. *Antiquity*, vol. 65: 22–38.
- Barfield, T.** 1989. *The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

1991. Inner Asia and Cycles of Power in China's Imperial History. In Seaman, G., and Marks, D. (eds.), *Rulers from the Steppe: State Formation on the Eurasian Periphery* (c. 21–62). Los Angeles: Ethnographics Press.

Bar-Iosef, O. and Khazanov, A. (eds.) 1992. *Pastoralism in the Levant: Archaeological Materials in Anthropological Perspectives*. Madison, WI: Prehistory Press.

Bentley, J. 1993. *Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times*. New York: Oxford University Press.

Bombaci, A. 1965–1966. Qutlug Bolzun! *Ural-Altäische Jahrbücher* 36: 284–291; 38: 13–43.

Bruun, O., and Odgaard, O. 1996. *Mongolia in Transition. Old Patterns, New Challenges*. Richmond, Surrey: Curzon.

Cahen, C. 1968. *Pre-Ottoman Turkey. A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History c. 1071–1330*. London: Sidgwick & Jackson.

Clutton-Brock, J. 1987. *A Natural History of Domesticated Animals*. Austin: University of Texas Press.

Clutton-Brock, J. (ed.) 1989. *The Walking Larder: Patterns of Domestication, Pastoralism, and Predation*. London: Unwin-Hyman.

Crossley, P. 1992. The Rulership of China. *American Historical Review* 97: 1468–1483.

Fletcher, J. 1979–1980. Turko-Mongolian Monarchic Tradition in the Ottoman Empire. *Harvard Ukrainian Studies*, 3–4/1.

Frye, R. N. 1989. Central Asian Concepts of Rule on the Steppe and Sown. In Seaman, G. (ed.), *Ecology and Empire. Nomads in the Cultural Evolution of the Old World* (pp. 135–140). Los Angeles: Ethnographics/USC.

Gellner, E. 1988. *Plough, Sword, and Book: The Structure of Human History*. Chicago: University of Chicago Press.

Gnoli, G. 1990. On Old Persian Farnah. *Acta Iranica* XVI (30): 84–92.

Golden, P. B. 1982. Imperial Ideology and the Sources of Political Unity amongst the Pre-Činggisid Nomads of Western Eurasia. *Archivum Eurasiae Medii Aevi*. T. II: 37–76.

Golden, P. B. 2001. *Ethnicity and State Formation in Pre-Činggisid Turkic Eurasia*. Bloomington, IN: Indiana University, Department of Central Eurasian Studies.

Headrick, D. R. 1981. *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*. New York: Oxford University Press.

Humphrey, C. and Sneath, D. (eds.) 1996. *Culture and Environment in Inner Asia. Vol. 1–2*. Cambridge: The White Horse Press.

1999. *The End of Nomadism?* Durham, NC: Duke University Press.

Ibn Khaldûn. 1967. *An Introduction to History. The Muqaddimah*. London: Routledge and Kegan Paul.

Khazanov, A. M. 1990. Pastoral Nomads in the Past, Present, and Future. A Comparative View. In Olson, P. A. (ed.), *The Struggle for Land: Indigenous Insight and Industrial Empire in the Semiarid World*. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

1993. Muhammad and Jengiz Khan Compared: The Religious Factor in World Empire Building. *Comparative Studies in Society and History* 53 (3): 461–479.

1994. *Nomads and the Outside World. Second Edition*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

1994a. The Spread of World Religions in Medieval Nomadic Societies of the Eurasian Steppes. In Gerves, M., and Schleep, W. (eds.), *Nomadic Diplomacy, Destruction and Religion from the Pacific to the Adriatic* (11–34) (Toronto Studies in Central and Inner Asia, N1). Toronto.

Khazanov, A. M., and Wink, A. (eds.) 2001. *Nomads in the Sedentary World*. Richmond, Surrey: Curzon Press.

Krader, L. 1978. The Origin of the State among the Nomads of Asia. In Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. (eds.), *The Early State* (pp. 97–107). The Hague: Mouton Publishers.

Kramarovsky, M. G. 1991. The Culture of the Golden Horde and the Problem of the ‘Mongol Legacy’ In Seaman, G., and Marks, D. (eds.), *Rulers from the Steppe: State Formation on the Eurasian Periphery* (pp. 255–273). Los Angeles: Ethnographics Press.

Lattimore, O. 1940. *Inner Asian Frontiers of China*. New York: American Geographical Society.

Manz, B. F. 1989. *The Rise and Rule of Tamerlane*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nicolle, D. 1976. *Early Medieval Islamic Arms and Armour*. Madrid: Instituto de Estudios Sobre Armas Antiguas.

Nissen, H. J. 1988. *The Early History of the Ancient East*. Chicago: University of Chicago Press.

Pulleyblank, E. G. 1955. *The Background of the Rebellion of An Lu-shan*. London: Oxford University Press.

de Rachewiltz, I. 1973. Some Remarks on the Ideological Foundations of Chingis Khan’s Empire. *Papers on Far Eastern History* (Canberra) 7: 21–36.

Rossabi, M. 1989. The ‘Decline’ of the Central Asian Caravan Trade. In Seaman, G. (ed.), *Ecology and Empire. Nomads in the Cultural Evolution of the Old World* (pp. 81–102). Los Angeles: Ethnographics/USC.

Shnirelman, V. A. 1996. *Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Sneath, D. 2000. *Changing Inner Mongolia. Pastoral Mongolian Society and the Chinese State*. New York: Oxford University Press.

Smith, J., Masson, Jr. 1997. Mongol Society and Military East: Antecedents and Adaptations. In Yaakov Lev (ed.), *War and Society in the Eastern Mediterranean, 7th–15th Centuries* (pp. 249–266). Leiden: Brill.

Steenagaard, N. 1973. *Carracks, Caravans and Companies: The Structural Crisis in the European-Asian Trade in the Early 17th Century*. Copenhagen: Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series 17.

Yamada, N. 1982. The Formation of the Hsiung-nu Nomadic State. *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 36: 575–582.